

К. Н.  
ЛЕОНТЬЕВ

*Сочинения*



Константин Николаевич Леонтьев

## **Воспоминание о Ф.И. Иноземцове и других московских докторах 50-х годов**

«Когда я (в 49-м году) был студентом первого курса, я уже много слышал об Иноземцове, но ни разу еще не видал его.

О нем отзывались прекрасно; почти все говорили, что он человек симпатичный и благородный. Иные, впрочем, сравнивая его с Овером, утверждали, что Овер – врач ума более практического, а Иноземцов – теоретик и увлекается системами. Я помню спор двух московских дам: одна была за Овера, другая за Иноземцова. «Нет, мой друг, – воскликнула, наконец, защитница Овера (как врача), – если бы от меня зависел выбор, я бы любила Иноземцова, а лечилась бы у Овера... Федора Ивановича можно обожать, но он все бы меня «питал млеком», а я этому не верю...»

**Константин Николаевич  
Леонтьев  
Воспоминание о Ф.И.  
Иноземцове и других  
московских докторах 50-х  
годов**

Когда я (в 49-м году) был студентом первого курса, я уже много слышал об Иноземцове, но ни разу еще не видал его.

О нем отзывались прекрасно; почти все говорили, что он человек симпатичный и благородный. Иные, впрочем, сравнивая его с Овером, утверждали, что Овер – врач ума более практического, а Иноземцов – теоретик и увлекается системами. Я помню спор двух московских дам: одна была за Овера, другая за Иноземцова. «Нет, мой друг, – воскликнула, наконец, защитница Овера (как врача), – если бы от меня зависел выбор, я бы любила Иноземцова, а лечилась бы у Овера... Федора Ивановича можно обожать, но он все бы меня «питал млеком», а я этому не верю».

Вообще дамы московские находили обоих знаменитых врачей очень привлекательными; оба они у женщин пользовались успехом. Молодая тетка моя А.П. Карабанова выражалась о наружности Федора Ивановича очень своеобразно; она говорила: – *Il a l'air d'un singe couronne d'un diademe* («обезьяна, увенчанная короной»).

Это могло казаться очень странным, и я не

понимал впечатления этой остроумной женщины до тех пор, пока сам не увидал Иноземцова.

В этом странном определении или в этом фантастическом образе «коронованной обезьяны» была какая-то художественная истина, которую я оценил с первого взгляда на Иноземцова.

Иноземцов, пожалуй, был скорее дурен собой, чем хорош, но его относительная некрасивость была лучше иной «писаной» красоты.

Он был очень смугл; волосы у него были черные, очень густые и всегда коротко, под гребенку, остриженные. Лицо его было совершенно особенное, оригинальное. Оно было длинно, узко, смугло, как я сказал, нос длинен, но неправилен и не совсем прям. Глаза у него были очень темные, немного томные, как будто задумчивые и даже печальные; но в них светилась чрезвычайная доброта. Усы он брил, но носил небольшие короткие бакенбарды вокруг всего лица. Я видал его почти всегда в синем вицмундире министерства народного просвещения, и всегда почти застегнутом доверху.

Росту Иноземцов был довольно высокого и до позднего возраста прям, строен и ловок в движениях.

Это лицо темное, неправильное, задумчивое; эти короткие черные волосы, которые немного сами приподнимались стоймя над лбом, – было во всем этом что-то и крайне милое, и, пожалуй, приятно-некрасивое и мыслящее, и полное тихого достоинства...

«Приятно-некрасивое и полное тихого достоинства» – вот что, вероятно, заставило молодую и остроумную почитательницу Иноземцова выразиться так странно: «обезьяна, увенчанная диадемой»... Диадема его славы, быть может, его таланта... Не знаю, как объяснить, но мне очень нравится этот женский отзыв. С другой стороны, признаюсь, я, пожалуй, согласен с теми людьми, которые говорили, что Иноземцов как врач – теоретик и увлекается идеями, или системами, а Овер идет всегда прямее к практической цели лечения. Я думаю, что дама, которая сказала «любить Иноземцова, лечиться у Овера», была тоже отчасти права.

По-моему, Овер был очень неприятен, что-

бы не сказать более. Красота его была даже, я нахожу, несколько противная – французская, холодная, сухая, непривлекательная красота. Александр Иванович Овер недавно был описан г. Маркевичем, в его прекрасном романе «Четверть века назад», где он приезжает в подмосковное имение князей Шастуновых, чтобы определить болезнь идеальной княжны Офелии и спасти ее, если возможно. По моему мнению, Овер производит в романе не совсем то впечатление, которое он производил в действительности. Мне бы хотелось изобразить его пояснее.

Вот какой был вид у Овера. Росту он был хорошего, плечист и складен; точно так же, как и Иноземцов, он был брюнет. Черты его были очень правильны, нос с умеренной и красивой горбинкой, лоб очень открытый, высокий и выразительный. Но над этим прекрасным, возвышенным челом был довольно противный, резко заметный парик (парик, особенно на человеке пожилom, – всегда несколько противная претензия). Говорят, будто бы из скупости он имел даже два парика – один будничный, а другой для праздни-

ков, разного цвета: я его видал только по будням, и потому не знаю, правда ли это. Цвет лица у Овера был так же, как и у Иноземцова, смугловатый, но у Федора Ивановича было нечто «теплое», приятное в этом цвете, а правильное лицо Овера как-то все лоснилось и блестело, как желтая медь. Живые выпуклые глаза его не имели в себе ни малейшей симпатичности; они сверкали сухой энергией – и больше ничего.

Он приезжал в нашу подготовительную клинику всегда в одном и том же, неформенном коричневом фраке и высоком галстуке. Проходил быстро в свой кабинет и читал нам лекции очень редко.

Часто вслед за ним спешил другой врач – помоложе, низенький, неприятно полный, белый, с бакенбардами и уже давно плешивый, нередко в какой-то клетчатой жакетке, наружности весьма буржуазной и пошлой. Говорят, он был Оверу сродни; я не помню, как его фамилия, и он ничего для нас, студентов, не значил, и я обращал на него так мало внимания, что даже не помню, как его звали.

Крикливый, бранчливый, звонкий голос



А.И. Овера, его несколько наглые манеры, его равнодушие к студентам, его обращение с ближайшими подчиненными, нередко очень грубое, – все это было таким контрастом с милой мрачностью и приятным органом Иноземцова, с его любовью и добротой к ученикам, с его мягкой и серьезной порядочностью!

Овер в своем модном коричневом фраке и при всей великосветскости своей был все-таки менее джентльмен, менее *distingue*[1], чем Иноземцов в своем чиновничьем, доверху застегнутом синем вицмундире.

Овер был похож на храброго, распорядительного и злого зуавского полковника, на крикливого и смелого француза-*parvenu*. Иноземцов казался или добрым и вместе с тем энергическим русским барином, с удачной примесью азиатской крови и азиатской серьезности, или даже каким-то великодушным, задумчивым и благородным поэтом с берегов Инда или Евфрата, поступившим, по обстоятельствам, на коронную службу к Белому Царю.

Я надеюсь, что всякий человек со вкусом и понятием, если бы он был даже сам парижан-

нин, согласится, что последнее лучше... «C'est de meilleur gout...»[2] Это изящнее.

Нравственные свойства этих двух профессоров, мне казалось, соответствовали их наружности.

В молодых моих годах я ко внешности человеческой присматривался очень внимательно. Сначала я был очень заинтересован френологией Галля, Шпурцгейма, Комба и т.д. Позднее, разочаровавшись в научном достоинстве старой френологии, я внимательно читал книгу глубокомысленного Каруса «Символика человеческого образа», был без ума от большой и толстой, с хорошими гравюрами, книги иенского профессора Гучке «Мозг, череп и душа». Позднее выписывал даже из Германии нарочно брошюры Энгеля о развитии костей черепа и лица, большое и прекрасное сочинение «О лицевом угле» Вирхова (того самого либерала Вирхова, который не хотел стреляться с Бисмарком и который так скучен своими частными беседами «о закупке женой на зиму картофеля, выросшего на человеческом удобрении»)... Изучая все эти книги, я мечтал тогда найти в *физиогно-*

мике или в какой-то физиологической психологии исходную точку для великого обновления человечества, для лучшего и более соответственного с «натурой» людей распределения занятий и труда. Впоследствии я отказался и от мечтательных надежд моих, и от самого этого рода чтения; но обращать большое внимание на лицо человека, на его приемы, на форму его головы, на его речь и голос, т.е. на внешность, – это осталось у меня в привычке и до того вкоренилось во мне, что я до сих пор могу невольно больше любить врага, который мне общим видом своим приятен, чем доброжелателя, которого наружность мне почему-либо не по вкусу.

Овер просто мне не нравился; лично я не мог против него ничего иметь. У меня не было вовсе никаких с ним личных дел и сношений. Он совсем не знал меня, как не знал и большую часть студентов, которых он изредка только достаивал чести прослушать его красноречивую лекцию на плохо им понятном латинском языке. Овер, говорю я, меня не знал; я его тоже, можно сказать, «игнорировал». Для меня, как, вероятно, и для всех моих

товарищей, несравненно большее значение имел его помощник Млодзеевский, и как наставник, и как экзаменатор. Он читал нам в подготовительной клинике *семиотику*, т.е. науку о *признаках* болезней и об их распознавании, и потом показывал нам те же самые явления и признаки на *действительных больных*, лечившихся в клинике под его руководством. Он учил нас самому нужному в жизни – практическому *врачебному эмпиризму*; приучал нас подступать к больному, учил сразу и *диагностике*, и частной *терапии* (лечению)... Млодзеевский казался мне очень почтенным человеком, и я нахожу, что в малой клинике он был полезнее всех, полезнее даже самого Иноземцова.

Он говорил все такие ясные, осязательные вещи; у постели больных он обращал наше внимание на такие частности, которые раз навсегда оставались в памяти.

У меня до сих пор хранится маленькая переплетенная тетрадка, в которую я записывал одно время то, что он нам говорил о признаках: «о рвоте, пульсе, эвакуациях, о сердцебиении, о боли, жаре и ознобе, о кашле и бреде».

Просто и так хорошо. Мне кажется, что если бы собрать от разных студентов все то, что Млодзеевский говорил хотя бы, положим, за пять лет, и составить из этого маленькую книжку, то право можно бы приготовить по ней очень хорошего фельдшера, или очень полезного деревенского эмпирика. Но я хочу сказать два слова о том «личном впечатлении», которое оставил во мне этот столь полезный профессор. Я по отношению к нему буду придерживаться того почти *физиологического* рода изображения, которое меня так сильно занимало именно в то время, когда я слушал лекции всех этих известных в Москве людей. Слушая иногда очень внимательно (а иногда и нет) их *клинические* речи, я как-то успевал в то же время думать и о своем; учааясь у них, внимая их словам, я следил за их телодвижениями, наблюдал их походку, взгляды глаз, интонацию голоса, изучал их лица и присматривался к форме их черепов.

Френологи прежде уверяли, что у людей осторожных с боков, повыше ушей, голова всегда широка: этот *орган*, эта *шишка* у них называется: № 12 «осмотрительность». Кажет-

ся, это соответствует самому выпуклому месту oss. parietalium[3]. Млодзеевский подтверждал собою это мнение френологов. Он казался очень осторожным, сдержанным, щепетильным, аккуратным человеком, и голова его была в надлежащем месте широка. Иноземцов, напротив того, казался человеком не слишком осторожным, быстрым, и голова его была узка (даже очень узка, как мне помнится).

Я пишу теперь все это, разумеется, без всяких научных претензий, а думаю только, что все это сказать не мешает.

*Объяснения фактов у Галля и учеников его могут быть ошибочны, но сами факты при этом могут оставаться верными. Иное дело претензия найти на поверхности мозга возвышения, соответственные определенным душевным наклонностям; и совсем иное дело – психическое значение как наружной кра ниоскопии, так и вообще всей архитектуры человеческого тела.*

Млодзеевский был не только осторожен и очень сдержан, но он производил на меня даже какое-то унылое впечатление. Из всех че-

тырех клинических руководителей наших (Овер, Млодзеевский, Иноземцов и помощник последнего – Матюшенков) Млодзеевский был самый кабинетный из кабинетных людей.

Медицинские занятия, изучение физиологии и анатомии сами по себе уже располагают мыслящего молодого человека любить здоровье, силу, красоту и досадовать нередко очень сильно на печальные физические явления столичной цивилизации. В одаренном воображении молодом враче совмещаются два совершенно противоположных научных чувства. Их можно назвать: одно – чувством удовольствия *клинического*, прямо любознательности патолога, который, забывая в данную минуту и сострадание к человеку, и эстетические требования, и самую брезгливость, – веселится умственно разнообразием болезней, любопытными и тонкими оттенками припадков, самым видом внутренностей каких-нибудь, вынутых из трупа и обезображенных болезненным процессом. Другое, если хотите, тоже своего рода научное чувство, или лучше назвать его *естественно-эстети-*

ческим чувством, поддержанным и укрепленным рациональным идеалом науки. Представление здорового, бодрого, сильного, красивого и ловкого человека вообще чрезвычайно приятно воображению физиолога... Я говорю, что эти два умственные чувства очень любопытно совмещаются в одном и том же молодом наблюдателе и одинаково могут занимать его.

Очень верно подмечена подобная двойственность медицинских чувств Эмилем Зола в его романе «Проступок аббата Мурэ».

Доктор, дядя молодого аббата, видимо, любит и уважает своего идеального и нервического племянника; он как психиатр чрезвычайно интересуется, сверх того, его психической болезнью, его непостижимой для материалиста «религиозной мономанией»; он по-своему заботится о нем, стараясь приблизить его к природе, к пантеистической любви; но восхищается он не им, а сестрой его, набитой молодой душой, свежей и здоровой скотницей, и, целуя ее как дядя, говорит: «о! добрая скотина! как бы хорошо было, если б люди были больше все такие, как ты!» (что-то в



этом роде).

Млодзеевский, больше всех удовлетворявший, как я сказал, моим ученическим потребностям, тому чувству клинической любознательности, которая начала, особенно с третьего курса, сильно проявляться во мне, с другой стороны, производил на меня... как бы это сказать вернее? положим, так, как на эстетика-физиолога, чрезвычайно жалкое и досадное даже впечатление.

Овер и Иноземцов – оба были молодцы, мужчины, «кавалеры», если можно так выразиться, люди *жизни*, как любят говорить в наше время (не совсем ясно); Млодзеевский был ученый, и больше ничего.

Низенький ростом, худой, во всем теле мелкий какой-то, *кроме одной головы*, которая была не то чтобы красива, о, нет! а только очень выразительна. Голова эта была велика, несоразмерна с телом; цвет лица свинцовый, серый; в экспрессии что-то печальное, труженническое, тонкое и вместе с тем покорное и сдержанное. Плешивый, очень высокий и с резкими выпуклостями лоб. Черты лица резкие и довольно правильные, если брать их от-

дельно, но очень некрасивые вместе... Эта большая голова, это умное, но свинцовое, мертвенное лицо, врезывались сразу в память... Кстати, вспоминаю, один мой приятель, тоже врач и ученик Московского университета, находил, что лицо Млодзеевского, его высокое чело, его нос с горбинкой, какие-то резкие впадины и черты щек напоминали портрет Гете в старости. Пожалуй, было что-то en laid[4], но это, во всяком случае, не комплимент: чрезвычайно старообразный, серый Млодзеевский, сам будучи в цвете лет, напоминал великого красавца лишь в его преклонных годах...

Вот как я его видел в первый раз. Он стоял перед столом; на столе был лоток с кишками только что выпотрошенного тифозного покойника. Млодзеевский показывал язвы слизистой оболочки и перебирал эти кишки своими маленькими, некрасивыми пальцами.

Около него стоял какой-то помощник (я его часто видал сначала, позднее он куда-то исчез, или я сам перестал вовсе его замечать); этот человек или человек науки был уже до того сам жалок и патологичен с виду, что

Млодзеевский казался перед ним исполином и лихим молодцом. Крошечный, худой донельзя, кожа и кости, со впадинами изнурения вокруг глаз, не знаю, кто он был и зачем он тут мешался; это был, вероятно, какой-нибудь темный труженик-анатом, который вскрыл умершего и принес на лоточке эти тифозные кишки.

Я, конечно, был доволен, что увидел в первый раз характеристические язвы брюшного тифа. Надо же было учиться... Я даже знал, кому они принадлежали. Тифозный больной, которого я дня два-три тому назад видел, был с обритой головой, ужасно худ и что-то тихо шептал, перебирая пальцами. Это был бедный, неважный чиновник, насколько помнится, из студентов, потому что Млодзеевский именно упомянул, читая над умирающим лекцию, о том, что «прогностика в высшей степени неблагоприятна, так как больной, принадлежа к *сословию ученому*, изнурен еще прежде умственным кабинетным трудом». Конечно, Млодзеевский все это говорил по-латыни, но если бы он говорил и по-русски, то этот человек не мог бы уже ничего

распознавать и понять. У него уже был тот отвратительный предсмертно-тифозный вид, который был еще Гиппократом описан до того хорошо, что так и назван был позднее: *fades hypocratica*[5].

Я был доволен, говорю, что увидел эти тифозные язвы кишок, о которых до тех пор только слышал на лекциях частной патологии у профессора Топорова. Чувство клинической любознательности было во мне удовлетворено, но зато другое умственное чувство, то, которое я, может быть, немножко и затейливо назвал *эстетико-физиологическим*, оно то как страдало при виде всех этих *серых*, свинцовых лиц – умирающего «из студентов» и двух живых – то есть и бедного, добросовестного Млодзеевского, и еще более его крошечного помощника, столь невинно стоявшего у стола с кишками!..

Мне кажется, что такие именно зрелища в старом университете и клинике имели большое влияние на всю мою жизнь и судьбу. В минуты подобных чувств зрело мое отношение к большим европейским городам, к «прогрессу» и ко всему тому, что связано с

этими городами и с таким прогрессом... В иные минуты – даже и к самой науке, или, вернее сказать, к *тому образу жизни*, который слагается почти неизбежной при постоянных и правильных занятиях кабинетной наукой.

«Нет! – думал я тогда, – Бог с ними и с познаниями, и даже со славой *ученого*, если и у меня должно сделаться *такое* лицо... Избави меня Боже производить на кого-нибудь другого то впечатление, которое производят на меня теперь и сам Млодзеевский, и этот несчастный «честный труженик», который около него стоит у стола...»

Все это так. Но, несмотря на все личные претензии моей юности, я как-то *почтительно* жалел Млодзеевского; я уважал его, и мне очень не нравилось, когда я замечал или слышал, что Овер обращается с ним грубо.

Я помню раз, один из товарищей наших, Л-ский подходит ко мне и говорит:

– Что это за свинство, право, со стороны Овера так оскорблять Млодзеевского при нас!.. – Что такое?

– Сходит вниз, а сторож ошибкой подал

ему шубу Млодзеевского. «Ах, извините, ваше превосходительство! это Корнилия Яковлевича!» А Овер ему: «Дурак, еще вшей на меня напускаешь!»

Меня тоже возмущало, когда я слышал иной раз громкий и сердитый крик Овера где-то, и мне товарищи сказывали, что это он на *Корнилия Яковлевича* кричит.

Жалел я почтенного и скромного наставника нашего, но тут же, помню, утешался особой *научной* радостью! «Физиогномика права! У Овера лицо неприятное и характер скверный».

Я мог по этому поводу сказать, как сумасшедший Гоголь: «что меня за все вознаградило сегодняшнее открытие. Я узнал, что у всякого петуха под перьями есть Испания!!» Я действительно тогда был почти сумасшедшим.

Я тогда все думал, что со временем укажу людям возможность «устроить общество», на прочных *физиогномических* основаниях, справедливых, незыблемых и «приятных». Главное – *приятных!* Тогда мне было с небольшим 20 лет; теперь мне гораздо боль-

ше, и я пришел к убеждению, что никогда люди «справедливо и приятно» устроиться не могут, на каких бы то ни было основаниях. Да и не *должны*; ибо в случае успеха они забыли бы *Бога и вечность*...

Как бы то ни было, физиогномика и меня, теоретически пытавшегося ее изучить, и других людей, просто наблюдательных, в данном случае, я думаю, не обманывала: Овер казался характера неприятного и красота его была неприятна; Иноземцов был прекраснейший человек, и лицо его, и вся особа его были в высшей степени привлекательны...

Контраст был такой, что его нарочно трудно было бы выдумать.

# Примечания



отличный (*фр.*)

[^^^]

## 2

«Это улучшенный вкус...» (фр.)

[^^^]

наружная кость (*лат.*)

[^^^]

уродливое (*фр.*)

[^^^]

## 5

Гиппократово лицо (лат.); т.е. лицо, на котором обнаруживаются признаки приближающейся смерти.

[^^^]